

Отец Амабль / рассказ

Category: Некаýалар, Кітарсу

написано кітарсу | 24 января, 2025

Отец Амабль / рассказ ОТЕЦ АМАБЛЬ

I.

Мокрое, серое небо нависло над широкой бурой равниной. Запах осени, печальный запах голой, сырой земли, палых листьев, засохшей травы разливался в неподвижном вечернем воздухе тяжелой, густой струей. Крестьяне еще работали кое-где в поле, ожидая звона к вечерне, чтобы вернуться на фермы, соломенные крыши которых проглядывали сквозь обнаженные сучья деревьев, защищающих от ветра яблоневые сады.

У дороги, на груди тряпья, сидел, растопырив ножки, крошечный ребенок и играл картофелиной, роняя ее иногда на свою рубашонку, а рядом на поле пять женщин, согнувшись до земли так, что видны были только зады, сажали брюкву. Быстрым, мерным движением они втыкали деревянные колышки вдоль глубокой борозды, проведенной плугом, и тотчас сажали в образовавшиеся ямки рассадку, уже немного поблекшую и спадающую набок; потом они прикрывали корни землей и продолжали работу.

Проходивший мимо мужчина, с голыми ногами в сабо, с кнутом в руке, остановился возле ребенка, взял его на руки и поцеловал. Тогда одна из женщин выпрямилась и подошла к нему. Это была рослая, румяная девушка, широкая в бедрах, в талии и в плечах, крупная нормандская самка, желтоволосая и краснощекая.

Она сказала решительным голосом:

– Вот и ты, Сезэр. Ну, как?

Мужчина, худощавый парень с печальным лицом, пробормотал:

– Да никак. Все то же.

– Не хочет?

– Не хочет.

– Что ж ты будешь делать?

– А почему я знаю?

– Сходи к кюре.

– Ладно.

– Сходи сейчас.

– Ладно.

Они взглянули друг на друга. Он все еще держал ребенка на руках, поцеловал его еще раз и посадил на кучу женского тряпья.

На горизонте, между двумя фермами, видно было, как лошадь тащит плуг и как на него налегает человек. Лошадь, плуг и пахарь медленно двигались на фоне тусклого вечернего неба.

Женщина продолжала:

– Что же твой отец говорит?

– Говорит, что не хочет.

– Да отчего же он не хочет?

Парень указал жестом на ребенка, которого опустил на землю, и взглядом – на человека, шедшего за плугом. И добавил:

– Потому что ребенок от него.

Девушка пожала плечами и сказала сердито:

– Подумаешь! Всем известно, что ребенок от Виктора! Ну и что же? Ну, согрешила! Да разве я первая? И моя мать грешила до меня, да и твоя тоже – прежде чем выйти за твоего отца! Кому это у нас не приходилось грешить? А у меня грех вышел с Виктором потому, что он взял меня, когда я спала в овине. Это истинная правда. Ну, потом бывало, конечно, что я и не спала да грешила. Я бы вышла за него, кабы он не жил в работниках. Неужели же я от этого хуже стала?

Парень ответил просто:

– По мне ты хороша, что с ребенком, что без ребенка. Только вот отец не согласен. Ну, да я как-нибудь все улажу.

Она повторила:

– Сходи сейчас же к кюре.

– Иду.

И он пошел дальше тяжелой крестьянской поступью, а девушка, упершись руками в бедра, пошла сажать брюкву.

Парень, направлявшийся теперь к священнику, Сезэр Ульбрек, сын глухого старика Амабля Ульбрека, действительно хотел жениться против воли отца на Селесте Левек, хотя она прижила ребенка с Виктором Лекоком, простым батраком на ферме ее родителей,

которого они выгнали после этого.

Впрочем, в деревне не существует кастовых различий, и если батрак бережлив, то он со временем сам приобретает ферму и становится ровней бывшему своему хозяину.

Итак, Сезэр Ульбрек шел, держа кнут под мышкой, думая все ту же думу и медленно переступая тяжелыми сабо, на которых налипла земля. Конечно, он хотел жениться на Селесте и хотел взять ее с ребенком, потому что это была та самая женщина, какая ему нужна. Он не мог бы объяснить, почему именно, но знал это, был в этом уверен. Достаточно ему было взглянуть на нее, чтобы убедиться в этом: он сразу чувствовал себя как-то чудно, растроганно, глупо-блаженно. Ему даже приятно было целовать ребенка, Викторова, малыша, потому что он родился от нее.

И он без всякой злобы поглядывал на далекий силуэт человека, шедшего за плугом на краю горизонта.

Но отец Амабль не желал этого брака. Он противился ему с упрямством глухого, с каким-то бешеным упорством.

Напрасно Сезэр кричал ему в самое ухо, в то ухо, которое еще различало некоторые звуки:

– Мы будем ухаживать за вами, папаша. Говорю вам, она хорошая девушка, работающая, бережливая.

Старик твердил одно:

– Пока я жив, этому не бывать.

И ничто не могло убедить его, ничего не могло сломить его упорство. У Сезэра оставалась одна надежда. Отец Амабль побаивался кюре из страха перед смертью, приближение которой он чувствовал. Он, собственно, не боялся ни бога, ни черта, ни ада, ни чистилища, о которых не имел ни малейшего представления, но он боялся священника, вызывавшего у него мысль о похоронах, как боятся врача из страха перед болезнью. Селеста знала эту слабость старика и уже целую неделю уговаривала Сезэра сходить к кюре. Но Сезэр все не решался, так как и сам недолюбливал черные сутаны: они представлялись ему не иначе, как с рукой, протянутой за даянием или за хлебом для церкви.

Но наконец он собрался с духом и пошел к священнику,

обдумывая, как бы лучше рассказать ему свое дело.

Аббат Раффен, маленький, худой, подвижной и вечно небритый, дождался обеда, грея ноги у кухонного очага.

Увидев вошедшего крестьянина, он только повернул в его сторону голову и спросил:

– А, Сезэр, что тебе нужно?

– Мне бы поговорить с вами, господин кюре.

Крестьянин робко переминался на месте, держа в одной руке фуражку, а в другой кнут.

– Ну, говори.

Сезэр взглянул на старую служанку, которая, шаркая ногами, ставила хозяйский прибор на край стола перед окном. Он пробормотал:

– Мне бы вроде как на духу, господин кюре.

Тут аббат Раффен пристально взглянул на крестьянина и, заметив его растерянный вид, сконфуженное лицо, бегающие глаза, приказал:

– Мари, уйди к себе в комнату минут на пять, пока мы тут потолкуем с Сезэром.

Старуха бросила на парня сердитый взгляд и вышла, ворча.

Священник продолжал:

– Ну, теперь выкладывай свое дело.

Парень все еще колебался, разглядывал свои сабо, тербил фуражку, но потом вдруг осмелел:

– Вот какое дело. Я хочу жениться на Селесте Левек.

– Ну и женись, голубчик, кто же тебе мешает?

– Отец не хочет.

– Твой отец?

– Да.

– Что же он говорит, твой отец?

– Он говорит, что у нее ребенок.

– Ну, это не с ней первой случилось со времени нашей праматери Евы.

– Да ребенок-то у нее от Виктора, от Виктора Лекока, работника Антима Луазеля.

– Ах, вот как! И отец, значит, не хочет?

– Не хочет.

- Нипочем не хочет?
- Да. Не в обиду сказать, уперся, как осел.
- Ну, а что ты ему говоришь, чтобы он согласился?
- Я говорю, что она хорошая девушка, работающая и бережливая.
- А он все-таки не соглашается? Ты, значит, хочешь, чтобы я с ним поговорил?
- Вот, вот!
- Ну, а что же мне ему сказать, твоему отцу?
- Да... то самое, что вы говорите на проповеди, чтобы мы деньги давали.

В представлении крестьянина все усилия религии сводились к тому, чтобы наполнять небесные сундуки, заставляя прихожан раскошеляться, выкачивать деньги из их карманов. Это было нечто вроде огромного торгового дома, где кюре являлись приказчиками, хитрыми, пронырливыми, оборотистыми, и обдeldывали дела господа бога за счет деревенских жителей.

Он, конечно, знал, что священники оказывают услуги, немалые услуги бедным людям, больным, умирающим, что они напутствуют, утешают, советуют, поддерживают, но все это за деньги, в обмен на беленькие монетки, на славное блестящее серебро, которым оплачиваются таинства и мессы, советы и покровительство, прощение и отпущение грехов, чистилище или рай, в зависимости от доходов и щедрости грешника.

Аббат Раффен, хорошо понимавший своих прихожан и никогда не сердившийся на них, рассмеялся:

- Ну, ладно! Я поговорю с твоим отцом, но ты, голубчик мой, должен ходить на проповедь.

Ульбрек поднял руку:

- Если вы мне это устроите, даю честное слово бедняка, буду ходить.
- Значит поладили. Когда же ты хочешь, чтобы я сходил к твоему отцу?
- Да чем раньше, тем лучше. Если можно, хоть сегодня.
- Хорошо, я приду через полчаса, как поужинаю.
- Через полчаса?
- Да. До свидания, голубчик.
- Счастливо оставаться, господин аббат, спасибо вам.

– Не за что.

И Сезэр Ульбрек воротился домой, чувствуя, что с сердца его спала большая тяжесть.

Он арендовал маленькую, совсем маленькую ферму, так как они с отцом были небогаты. Одни со служанкой, пятнадцатилетней девочкой, которая варила им похлебку, ходила за птицей, доила коров и сбивала масло, они еле-еле сводили концы с концами, хотя Сезэр был хороший хозяин. Но у них не хватало ни земли, ни скота, и заработать им удавалось только на самое необходимое.

Старик уже не мог работать. Угрюмый, как все глухие, разбитый болезнями, скрюченный, сгорбленный, он бродил по полям, опираясь на палку, и мрачно, недоверчиво оглядывал людей и животных. Иногда он садился на краю канавы и просиживал там в неподвижности целыми часами, смутно думая о том, что заботило его всю жизнь, – о ценах на яйца и на хлеб, о солнце и о дожде, которые будут полезны или вредны посевам. И его старые члены, сведенные ревматизмом, продолжали впитывать в себя сырость почвы, как уже впитывали в течение семидесяти лет испарения низкого домика, крытого сырой соломой.

Он возвращался домой к вечеру, садился на свое место в кухне, у края стола и когда перед ним ставили глиняный горшок с похлебкой, он обхватывал его скрюченными пальцами, как будто сохранявшими округлую форму посуды, и, прежде чем приняться за еду, грел об него руки зимой и летом, чтобы не пропало ничего, ни единой частицы тепла от огня, который стоит так дорого, ни единой капли супа, куда положены сало и соль, ни единой крошки хлеба, на который идет пшеница.

Потом он взбирался по лесенке на чердак, где лежал его сенник; сын спал внизу, в закоулке за печью, а служанка запиралась на ночь в погреб, в темную яму, куда раньше ссыпали картофель.

Сезэр и его отец почти не разговаривали. Лишь время от времени, когда надо было продать урожай или купить теленка, молодой человек советовался со стариком и, сложив рупором руки, выкрикивал ему в ухо свои соображения; отец Амабль соглашался с ним или медленно возражал глухим голосом, выходящим словно из самого его нутра.

И вот однажды вечером Сезэр подошел к отцу, как бывало, когда дело шло о приобретении лошади или телки, и прокричал ему в ухо, что было силы, о своем намерении жениться на Селесте Левек.

Но туг отец рассердился. Почему? По моральным соображениям? Нет, конечно. В деревне девичья честь никакой ценности не представляет. Но скупость и глубокий, свирепый инстинкт бережливости возмутились в нем при мысли, что сын будет растить ребенка, который родился не от него. В одно мгновение представил он себе, сколько мисок супа проглотит ребенок, пока от него будет польза в хозяйстве, вычислил, сколько фунтов хлеба съест, сколько литров сидра выпьет этот мальчишка, прежде чем ему исполнится четырнадцать лет, и в нем вспыхнула дикая злоба против Сезэра, который не подумал обо всем этом.

И он ответил непривычно резким голосом:

– Да ты рехнулся, что ли?

Тогда Сезэр начал перечислять все доводы, описывать достоинства Селесты, доказывая, что она заработает во сто раз больше, чем будет стоить ребенок. Но старик в ее достоинствах сомневался, между тем как существование ребенка не вызывало у него никаких сомнений, и упорно твердил одно и то же, не вдаваясь в подробности:

– Не хочу! Не хочу! Пока я жив, этому не бывать.

И за три месяца дело не сдвинулось с места, так как ни тот, ни другой не шли на уступки и возобновляли не менее раза в неделю тот же спор, с теми же доводами, словами, жестами и с теми же бесплодными результатами.

Тогда-то Селеста и посоветовала Сезэру обратиться за помощью к местному кюре.

От священника Сезэр пришел домой с опозданием и застал отца уже за столом.

Они пообедали молча, сидя друг против друга, съели после супа немного хлеба с маслом, выпили по стакану сидра и продолжали неподвижно сидеть на стульях при тусклом свете свечи, которую девочка-служанка внесла, чтобы вымыть ложки, перетереть стаканы и заранее нарезать хлеб на завтрашнее утро.

Раздался стук в дверь; она тотчас же распахнулась, и вошел

священник. Старик поднял на него беспокойный, подозрительный взгляд и, предчувствуя недоброе, собрался было залезть на чердак, но аббат Раффен положил ему руку на плечо и прокричал у самого его виска:

– Мне надо поговорить с вами, отец Амабль.

Сезэр скрылся, воспользовавшись тем, что дверь осталась открытой. Он не хотел ничего слышать, так ему было страшно; он не хотел, чтобы его надежда убывала по капле с каждым упорным отказом отца; он предпочитал потом, сразу, узнать решение, хорошее или плохое, и ушел из дому. Вечер был безлунный, беззвездный, один из тех туманных вечеров, когда воздух от сырости кажется сальным. Легкий запах яблок несся из каждого двора; наступило время сбора ранних яблок, «скороспелок», как их называют в этой стране сидра. Когда Сезэр проходил мимо хлевов, на него сквозь узкие окна веяло теплым запахом скота, дремавшего на навозе, из конюшен доносилось топотание лошадей и похрустывание сена, которое они выбирали из кормушек и перемалывали челюстями.

Он шел и думал о Селесте. В его простом уме, где мысли возникали только как образы, непосредственно порождаемые предметами, мечты о любви воплощались в облике высокой румяной девушки, которая стояла у дороги, в ложбине, и смеялась, упершись руками в бедра.

Такой он увидел ее в тот день, когда в нем впервые зародилось влечение к ней. Правда, он знал ее с детства, но никогда до этого утра не обращал на нее внимания. Они поговорили несколько минут, и он ушел, повторяя на ходу: «А ведь хороша девка! Жаль, что у нее был грех с Виктором». Он думал о ней до самого вечера, а также и на другой день.

Когда они встретились снова, он почувствовал, что у него защекотало в горле, как будто ему запустили петушиное перо через рот в самую грудь. И с тех пор каждый раз, когда он бывал подле нее, он с удивлением ощущал то же неизменное, странное нервное щекотание.

Не прошло и трех недель, как он решил жениться на ней, – так она ему нравилась. Он бы не сумел объяснить, откуда взялась ее власть над ним, и только говорил: «На меня нашло», – как будто

желание обладать этой девушкой, которое он носил в себе, овладело им, как бесовское наваждение. Ее грех больше не тревожил Сезэра. Не все ли равно, в конце концов, ведь от этого она хуже не стала; и он не питал злобы к Виктору Лекоку. Но если кюре потерпит неудачу, что тогда? Сезэр старался не думать об этом: слишком уж терзала его тревога.

Он дошел до дома священника и сел подле деревянной калитки, чтобы дожидаться возвращения кюре.

Посидев там, пожалуй, не меньше часа, он услышал на дороге шаги и вскоре разглядел, хотя ночь была очень темная, еще более темную тень сутаны.

Он встал, ноги его подкашивались, он боялся заговорить, боялся спросить.

Священник, увидев его, весело сказал:

– Ну, вот, голубчик, все и уладилось.

Сезэр забормотал:

– Как уладилось?.. Не может быть!

– Да, да, мальчик, правда, не без труда. Твой отец упрям, как старый осел.

Крестьянин все повторял:

– Не может быть!

– Ну да, уладилось! Приходи ко мне завтра в полдень поговорить насчет оглашения.

Сезэр схватил руку кюре. Он жал ее, тряс, тискал и твердил, заикаясь:

– Так правда?.. Правда?.. Господин кюре!.. Даю слово честного человека, я приду в воскресенье... на вашу проповедь!

II.

Свадьбу сыграли в середине декабря. Свадьба была скромная, так как молодые были небогатые. Сезэр, одетый во все новое, порывался уже с восьми утра идти за невестой и вести ее в мэрию; но было еще слишком рано, и он уселся за кухонный стол, поджидая родных и друзей, которые должны были зайти за ним.

Снег шел целую неделю; и бурая земля, уже оплодотворенная осенними посевами, побелела, заснула под ледяным покровом.

В домиках, накрытых белыми шапками снега, было холодно; круглые яблони во дворах, напудренные снежной пылью, казалось, цвели, как в прекрасную пору своего расцвета.

В тот день большие тучи с севера, серые тучи, набухшие снежным дождем, рассеялись, и голубое небо распростерлось над белой землей, на которую восходящее солнце бросало серебристые блики.

Сезэр глядел в окно и ни о чем не думал, только чувствовал себя счастливым.

Дверь отворилась, вошли две женщины, две крестьянки, разодетые по-праздничному, – тетка и двоюродная сестра жениха; за ними явилось трое мужчин – его двоюродные братья, потом соседка. Они разместились на стульях и сидели неподвижно и молча – женщины на одной стороне кухни, мужчины на другой, – внезапно скованные той робостью, тем тоскливым смущением, которое нападает на людей, собравшихся для какой-нибудь церемонии. Немного погодя один из двоюродных братьев спросил:

– Не пора ли?

Сезэр ответил:

– Пожалуй, пора.

– Ну, так пойдете, – сказал другой.

Они встали. Тогда Сезэр, начинавший беспокоиться, влез по лестнице на чердак, посмотреть, готов ли отец. Обычно старик вставал очень рано, но сегодня он еще не появлялся. Сын нашел его в постели: он лежал, завернувшись в одеяло, с открытыми глазами и злым лицом.

Сезэр крикнул ему в ухо:

– Вставайте, папаша, вставайте. Пора на свадьбу!

Глухой забормотал жалобным голосом:

– Не могу! Мне, должно быть, спину продуло. Никак двинуться не могу.

Сын удрученно глядел на него, догадываясь, что это притворство.

– Ну, папаша, понатужьтесь.

– Не могу.

– Давайте я вам пособлю.

И, нагнувшись к старику, он размотал одеяло, взял отца за руки

и приподнял. Но старик Амабль принялся вопить:

– Ой, ой, ой!.. Горе мое!.. Ой, ой, не могу! Всю спину разломило! Верно, меня ветром продуло через эту проклятую крышу.

Сезэр понял, что ничего не побьется, и, впервые в жизни рассердившись на отца, крикнул ему:

– Ну, тогда и сидите без обеда. Ведь обед-то я заказал в трактире у Полита. Будете знать, как упрямитесь.

Он сбежал с лестницы и пустился в путь в сопровождении родных и приглашенных.

Мужчины засучили брюки, чтобы не обить их края о снег, женщины высоко подбিরали юбки, показывая худые щиколотки, серые шерстяные чулки и костлявые ноги, прямые, как палки. Они шли, покачиваясь, гуськом, молча и медленно из осторожности, чтобы не сбиться с дороги, занесенной ровною, однообразною, сплошною пеленой снега.

Когда они подходили к фермам, к ним присоединялось по два, по три человека, которые их поджидали, и процессия беспрестанно растягивалась, извивалась, следуя по невидимым поворотам дороги, и напоминала живые четки, черные бусы, колыхавшиеся по белой равнине.

Перед домом невесты жениха ждала целая группа людей, переминавшихся с ноги на ногу. Когда он появился, его приветствовали криками. Скоро и Селеста вышла из своей комнаты, в голубом платье, с красной шалью на плечах, с флердоранжем в волосах.

Все спрашивали Сезэра:

– А где же отец?

Он отвечал сконфуженно:

– У него такие боли приключились, что встать не может.

И фермеры недоверчиво и лукаво покачивали головами.

Процессия направилась к мэрии. Позади будущих супругов одна из крестьянок несла на руках ребенка Виктора, как будто предстояли крестины. Остальные крестьяне, взявшись под руки, шагали по снегу теперь уже попарно, качаясь, как шлюпки на волнах.

После того как мэр соединил молодых в маленьком доме

муниципалитета, кюре, в свою очередь, обвенчал их в божьем доме. Он благословил их союз, обещая им плодородие, а потом произнес проповедь о супружеских добродетелях, о простых здоровых добродетелях сельской жизни, о трудолюбии, о супружеском согласии, о верности; тем временем ребенок, продрогнув, пищал за спиной у невесты.

Когда молодые показали на церковном пороге, из кладбищенского рва грянули выстрелы. Сначала видны были только концы ружейных стволов, из которых быстро вылетали клубы дыма, потом показалась голова, смотревшая на процессию. Это Виктор Лекок приветствовал свадьбу своей подруги, праздновал ее счастье и в гоме выстрелов приносил ей свои поздравления. Для этих торжественных залпов он привел своих приятелей, человек пять – шесть батраков с ферм. Все нашли, что это очень мило с его стороны.

Обед состоялся в трактире Полита Кашпрюна. Стол на двадцать персон был накрыт в большом зале, где обедали в базарные дни; огромная баранья нога на вертеле, птица, жарящаяся в собственном соку, колбаса, шипящая на ярком, веселом огне, наполняли дом густым запахом, чадом залитых жиров углей, крепким, тяжким духом деревенской пищи.

В полдень сели за стол, и тарелки тотчас же наполнились супом. Лица уже оживились, рты готовы были открыться и выкрикивать шутки, глаза смеялись, лукаво прищуриваясь. Все собрались повеселиться, черт возьми!

Дверь распахнулась, и появился отец Амабль. Вид у него был недобрый, выражение лица свирепое, он тащился, опираясь на две палки и охая на каждом шагу, чтобы видно было, как он страдает.

При его появлении все умолкли; но вдруг его сосед, дядя Маливуар, известный шутник, видевший каждого насквозь, завопил, сложив руки рупором, как это делал Сезэр:

– Эге, старый хитрец! Ну и носище у тебя, если ты из дома учуял, чем у Полита пахнет!

Могучий хохот вырвался из всех глоток. Маливуар, поощренный успехом, продолжал:

– Нет лучше средства от ломоты, чем колбасная припарка! Если

еще стаканчик водки в придачу, вот нутро-то и согреется!

Мужчины орали, колотили кулаками по столу, хохотали, то наклоняясь в сторону всем телом, то выпрямляясь, точно качали воду. Женщины кудахтали, как куры, служанки корчились со смеху, стоя у стены. Один отец Амабль не смеялся и, ничего не отвечая, ждал, чтобы ему очистили место.

Его посадили посредине, напротив снохи; и не успел он сесть за стол, как тотчас же принялся за еду. Раз сын платит, надо урвать свою долю. С каждой ложкой супа, попавшей в его желудок, с каждым куском хлеба или мяса, растертым его беззубыми деснами, с каждым стаканом сидра или вина, влитым в горло, он, казалось, отвоевывал частицу своего добра, возвращал часть денег, проедаемых этими обжорами, спасал крохи своего имущества. Он ел молча, с алчностью скупца, припрятавающего каждое су, с тем угрюмым рвением, какое раньше прилагал к своим неустанным трудам.

Но, увидев вдруг за столом, на коленях у одной из женщин, ребенка Селесты, он больше уже не сводил с него глаз. Он продолжал есть, но взгляд его был прикован к мальчику, жевавшему кусочки жаркого, которые женщина время от времени подносила к его роту. И старика гораздо больше мучили те крохи, которые сосала эта личинка человека, чем все то, что поглощали остальные.

Пир длился до вечера. Потом все разошлись по домам. Сезэр приподнял отца Амабля.

– Пора домой, папаша, – сказал он и подал ему обе его палки.

Селеста взяла ребенка на руки, и они медленно побрели сквозь белесую мглу ночи, освещенной снегом. Глухой старик, изрядно выпивший, еще более злой от вина, упорно не желал двигаться. Не раз он даже садился в тайной надежде, что сноха простудится. Он хныкал, не произнося ни слова, испуская протяжные стоны.

Когда они добрались до дому, он тотчас же залез на чердак, между тем как Сезэр устраивал постель для ребенка подле того закоулка, где собирался лечь с женой. Новобрачные заснули далеко не сразу, и они долго еще слышали, как старик ворочался на своем сеннике; он даже несколько раз громко проговорил что-

то, может быть, со сна, а может быть, потому, что был во власти навязчивой мысли и слова против воли вырывались у него изо рта.

Когда он наутро спустился с лестницы, то увидел, что сноха хлопчет по хозяйству. Она крикнула ему:

– Поторапливайтесь, папаша, вот вам хорошая похлебка.

И она поставила на край стола круглый глиняный дымящийся горшок. Старик Амабль сел, ничего не ответив, взял горячий горшок, по обыкновению погрел об него руки и, так как было очень холодно, даже прижал его к груди, пытаясь вобрать в себя, в свое старое тело, застывшее от зимних холодов, немного живого тепла кипящей воды.

Потом он взял свои палки и ушел в замерзшие поля до полудня, до самого обеда – ушел из-за того, что увидел в большом ящике из-под мыла ребенка Селесты, который еще спал.

Старик так и не примирился. Он продолжал жить в доме, как раньше, но, казалось, уже был здесь чужим, ничем не интересовался, относился к этим людям – к сыну, к женщине, к ребенку, – как к посторонним, которых он не знает и никогда с ними не разговаривал.

Зима миновала. Она была долгая и суровая. Потом ранней весной взошли посевы, и крестьяне, как трудолюбивые муравьи, снова проводили в поле целые дни, работая от зари до зари, под ветром и под дождем, согнувшись над бороздами черной земли, рождавшими хлеб для людей.

Для молодых супругов год начался хорошо. Всходы выдались крепкие, густые, поздних заморозков не было, цветущие яблони роняли в траву бело-розовый снег, обещая на осень горы плодов. Сезэр работал не покладая рук, вставал рано и возвращался поздно, чтобы не тратиться на батрака.

Жена не раз говорила ему:

– Смотри, надорвешься!

Но он отвечал:

– Ничего, дело привычное.

Все же однажды вечером он вернулся домой настолько усталый, что лег, не поужинав. Наутро он встал в обычный час, но не мог есть, хотя накануне улегся натошак; днем он вынужден был

вернуться домой отдохнуть. Ночью он начал кашлять и метался на постели в жару, страдая от жажды, лицо у него пылало, во рту пересохло.

Тем не менее на рассвете он отправился в поле, но на следующий день пришлось позвать врача, который объявил, что он серьезно болен, болен воспалением легких.

И Сезэр больше уж не вышел из темного закоулка, служившего ему спальней. Слышно было, как он кашляет, тяжело дышит и ворочается в этой темной норе. Чтобы его увидеть, чтобы дать ему лекарство или поставить банки, надо было в этот закоулок приносить свечу. Тогда становилось видно его изможденное лицо, неопрятное из-за отросшей бороды, а над ним – густое кружево паутины, колебавшейся от движения воздуха. Руки больного казались мертвыми на серой простыне.

Селеста ухаживала за ним с тревожной заботливостью, давала ему пить лекарство, ставила банки, хлопотала по хозяйству, а отец Амабль, сидя у входа на чердак, следил издали за темным углом, где умирал его сын. Он не подходил к нему, потому что ненавидел его жену, и злился, как ревнивый пес.

Прошло еще шесть дней. Утром седьмого дня, когда Селеста, спавшая теперь на охапке соломы, расстеленной на полу, встала, чтобы взглянуть, не легче ли мужу, она не услышала больше из темного угла его прерывистого дыхания. В испуге она спросила: – Ну, как ты нынче, Сезэр?

Он не ответил.

Она протянула руку, чтобы потрогать его, и коснулась застывшего лица. Она закричала громко и протяжно, как кричат испуганные женщины. Он был мертв.

При этом крике глухой старик появился на верху лестницы; увидев, что Селеста бросилась бежать за помощью, он быстро спустился, в свою очередь, ощупал лица сына и, поняв вдруг, в чем дело, запер дверь изнутри, что не дать снохе вернуться и снова завладеть домом теперь, когда сына уже нет в живых.

Потом он сел на стул рядом с покойником.

Соседи приходили, звали, стучали. Он не слышал. Один из них разбил оконное стекло и влез в комнату. Другие последовали за ним; дверь снова отперли, и Селеста вошла, вся, в слезах, с

распухшим лицом и красными глазами. Тогда отец Амабль, побежденный, не промолвив ни слова, снова залез к себе на чердак.

Похороны состоялись на следующий день; после церемонии свекор и сноха очутились на ферме одни с ребенком.

Был час обеда. Селеста зажгла огонь, размочила хлеб в похлебке и собрала на стол, между тем как старик ждал, сидя на стуле, и как будто не глядел на нее.

Когда обед поспел, она крикнула ему в ухо:

– Иди, папаша, надо поесть.

Он встал, сел за стол, съел горшок супа, сжевал кусок хлеба, тонко намазанный маслом, выпил два стакана сидра и ушел.

Стоял один из тех теплых благодатных дней, когда чувствуется, как на всей поверхности земли всходит, трепещет, расцветает жизнь.

Отец Амабль шел по тропинке через поля. Он глядел на молодые хлеба, на молодые овсы и думал о том, что его сын, родной его сын, лежит теперь под землею. Он шел усталой походкой, волоча ногу, прихрамывая. Он был совсем один в поле, совсем один под голубым небом, среди зреющего урожая, совсем один с жаворонками, которых видел над своей головой, не слыша их звонкого пения; он шел и плакал.

Потом он сел подле лужи и просидел там до вечера, глядя на птичек, которые прилетали напиться, а когда стало темнеть, вернулся домой, поужинал, не говоря ни слова, и влез к себе на чердак.

И жизнь его потекла так же, как раньше. Ничто не изменилось, только Сезэр, его сын, спал на кладбище.

Да и что было делать старику? Работать он больше не мог, он годился теперь только на то, чтобы есть похлебку, которую варила сноха. И он молча съедал ее, утром и вечером, следя злыми глазами за ребенком, который тоже ел, сидя против него, по другую сторону стола. Потом он уходил из дому, шатался по окрестностям, как бродяга, прятался за овинами, чтобы соснуть часок-другой, как будто боясь, что его увидят, и лишь к ночи возвращался домой.

Между тем серьезные заботы начали тревожить Селесту. Земля

нуждалась в мужчине, который ухаживал бы за ней и обрабатывал ее. Надо было, чтобы кто-нибудь постоянно находился на полях, и притом не простой наемный работник, а настоящий земледелец, опытный хозяин, болеющий о ферме. Женщина одна не может обрабатывать землю, следить за ценами на хлеб, покупать и продавать скот. И в голове Селесты возникли мысли, простые, практические мысли, которые она передумывала целыми ночами. Она не могла снова выйти замуж раньше, как через год, а между тем следовало немедленно позаботиться о самых насущных нуждах. Только один человек и мог вывести из затруднения – Виктор Лекок, отец ее ребенка. Он был хороший работник и знал все, что касалось земли; будь у него хоть немного денег, он стал бы прекрасным хозяином. Селесте это было известно, потому что она видела, как он работал на ферме у ее родителей.

И вот как-то утром, когда он проезжал мимо с телегой навоза, она вышла ему навстречу. Заметив ее, он остановил лошадь, и она обратилась к нему, как будто они виделись не далее, как вчера:

– Здравствуй, Виктор, как живешь?

Он ответил:

– Помаленьку, а вы как?

– Я бы ничего, да вот только одна я в доме и очень беспокоюсь о земле.

И они пустились в долгий разговор, прислонясь к колесу тяжелой телеги. Мужчина порой почесывал себе лоб под фуражкой и погружался в раздумье, а она, покрасневшись, говорила с жаром, высказывая свои доводы, соображения, планы на будущее. Наконец он пробормотал:

– Ну что ж, это можно.

Она протянула руку, как делают крестьяне, заключая торг, и сказала:

– Значит, по рукам?

Он пожал протянутую руку:

– По рукам!

– Так в воскресенье?

– В воскресенье.

– Ну, до свидания, Виктор.

– До свидания, госпожа Ульбрек.

III.

В то воскресенье был деревенский праздник, ежегодный престольный праздник, который в Нормандии называют «гуляньем». Всю неделю по дорогам медленно тащились повозки, запряженные серыми или гнедыми клячами, крытые повозки, в которых живут со своими семьями бродячие ярмарочные фокусники, владельцы лотерей, тиров, разных игр и содержатели тех паноптикумов, где, как говорят крестьяне, «показывают разные штуки».

На площади, у мэрии, один за другим останавливались грязные фургоны с развевающимися занавесками, сопровождаемые унылым псом, который, понунив голову, трусил между колесами. Вскоре перед каждым из этих кочевых жилищ вырастала палатка, а в палатке сквозь дыры в парусине можно было разглядеть блестящие предметы, возбуждавшие восхищение и любопытство мальчишек.

В праздник все эти палатки открывались с самого утра, выставляя напоказ свои сокровища из стекла и фаянса. Крестьяне, направляясь к обеду, с простодушным удовольствием поглядывали на эти незатейливые лавки, несмотря на то, что видели их ежегодно.

К полудню площадь наполнилась народом. Со всех соседних деревень съезжались фермеры, трясясь с женами и детьми на двухколесных шарабанах, громяющих железными частями и шатких, как качели. Приезжающие распрягали лошадей у знакомых, и все дворы были загромождены нелепыми серыми колымагами, высокими, тонкими, крючковатыми, похожими на животных с длинными щупальцами, обитателей морских глубин.

И все семьи – маленькие впереди, взрослые сзади – отправлялись на гулянье тихим шагом, с довольным видом, болтая руками, грубыми, костлявыми, красными руками, которые привыкли к работе и словно стыдились своей праздности.

Фокусник играл на дудке; шарманка карусели раздирала воздух плачущими, прерывистыми звуками; лотерейное колесо трещало, как материя, которую разрывают; ежеминутно раздавались выстрелы из карабинов. И медлительная толпа лениво двигалась

вдоль палаток, расползаясь, как тесто, волнуясь, как стадо неуклюжих животных, случайно выпущенных на свободу.

Девушки, взявшись за руки, гуляли по шесть, по восемь в ряд и визгливо пели песни; парни шли за ними, балагуря, сдвинув набекрень фуражки, и накрахмаленные блузы пузырились на них, как большие голубые шары.

Тут собралась вся округа – хозяйева, батраки, служанки.

Даже отец Амабль нарядился в свой древний позеленевший сюртук и пожелал принять участие в гулянье, потому что никогда не пропускал его.

Он глядел на лотереи, останавливался перед тиром посмотреть, как стреляют, и в особенности заинтересовался простой игрой, состоящей в том, чтобы попасть большим деревянным шаром в разинутый рот человека, нарисованного на доске.

Вдруг кто-то хлопнул его по плечу. То был дядя Маливуар. Он крикнул старику:

– Эй, папаша, пойдём выпьем коньяку, я угощаю.

И они уселись за столик кабачка, устроенного на открытом воздухе. Они выпили по рюмочке, потом по другой и по третьей, после чего отец Амабль снова пошел бродить. Мысли его стали немного путаться, он улыбался, сам не зная чему, улыбался, глядя на лотерею, на карусель и, главное, на фигурные кегли. Он долго стоял перед ними, приходя в восторг каждый раз, как какой-нибудь любитель сбивал жандарма или священника – двух представителей власти, которых старик инстинктивно страшился. Потом он вернулся к кабачку и выпил стакан сидра, чтобы освежиться. Было поздно, надвигалась ночь. Кто-то из соседей окликнул его:

– Смотрите, отец Амабль, не опоздайте к ужину.

Тогда он отправился домой, на ферму. Тихие сумерки, теплые сумерки весенних вечером медленно опускались на землю.

Когда он дошел до дверей, ему показалось, что в освещенном окне видны два человека. Он остановился в изумлении, потом вошел и увидел, что за столом перед тарелкой с картошкой, на том самом месте, где раньше сидел его сын, сидит и ужинает Виктор Лекок.

Старик сразу круто повернулся, как будто хотел уйти. Ночь была

уже совсем черная. Селеста вскочила и крикнула ему:

– Скорее, скорее, папаша, нынче у нас ради праздника хорошее рагу.

Тогда он машинально подошел к столу и сел, оглядывая поочередно мужчину, женщину и ребенка. Потом, по своему обычаю, медленно принялся за еду.

Виктор Лекок чувствовал себя, как дома, время от времени заговаривал с Селестой, брал ребенка на руки и целовал его. А Селеста подкладывала ему еды, наполняла его стакан и, казалось, с большим удовольствием разговаривала с ним. Отец Амабль следил за ними пристальным взглядом, не слыша их слов. После ужина – а он почти не ел, так у него было тяжело на сердце – он встал и, вместо того чтобы влезть, как всегда на чердак, открыл дверь во двор и вышел в поле.

Когда он ушел, Селеста, немного обеспокоившись, спросила:

– Что это с ним?

Виктор равнодушно заметил:

– Не бойся. Придет, когда устанет.

Тогда она занялась хозяйством, перемыла тарелки, вытерла стол, между тем как мужчина спокойно раздевался. Потом он улегся в глубоком темном закоулке, где она раньше спала с Сезэром.

Дверь со двора отворилась. Вошел отец Амабль и тотчас же огляделся по сторонам, будто принюхиваясь, как старый пес. Он искал Виктора Лекока. Не видя его, он взял свечу со стола и пошел к темному углу, где умер его сын. В глубине его он увидел мужчину, вытянувшегося под одеялом и уже уснувшего. Тогда глухой тихо повернулся, поставил свечу и опять вышел из дому.

Селеста закончила работу, уложила сына, прибрала все по местам и ждала только возвращения свекра, чтобы тоже улечься рядом с Виктором.

Она сидела на стуле, свесив руки, глядя в пространство.

Но старик все не возвращался, и она с досадой и раздраженно пробормотала:

– Из-за этого старого дармоеда мы свечу спалим на целых четыре су.

Виктор откликнулся с кровати:

– Он уже больше часа на дворе. Взглянуть бы, не заснул ли он на скамейке у крыльца.

– Сейчас схожу, – сказала она, встала, взяла свечу и вышла, приложив руки щитком ко лбу, чтобы лучше видеть в темноте.

Никого не было перед дверью, никого на скамейке, никого у навозной кучи, куда отец по привычке приходил иногда посидеть в тепле.

Но, собираясь уже вернуться в дом, она нечаянно подняла глаза на большую развесистую яблоню у ворот фермы и вдруг увидела ноги, две мужские ноги, висевшие на уровне ее лица.

Она отчаянно закричала:

– Виктор! Виктор! Виктор!

Он прибежал в одной рубашке. Она не могла выговорить ни слова и, отвернувшись, чтобы не видеть, показывала протянутой рукой на дерево.

Ничего не понимая, он взял свечу, чтобы посмотреть, что там такое, и увидел среди освещенной снизу листвы отца Амабля, который висел очень высоко на недоуздке.

К стволу яблони была прислонена лестница.

Виктор сбегал за ножом, влез на дерево и разрезал ремень. Но старик уже застыл, высунув изо рта язык, в ужасной гримасе.

* * *

Напечатано в «Жиль Блас» в номерах от 30 апреля и 4 мая 1886 года.

Ги де Мопассан. Собрание сочинений в 10 тт. Том 6. МП «Аурика», 1994

Перевод Е. Александровой. Neкаýalar